

ЭММА ГОЛЬДМАН

A black and white portrait of Emma Goldman, a woman with dark hair and glasses, looking directly at the camera with a serious expression. She is wearing a dark jacket over a light-colored shirt. The background is dark and features a barbed wire fence and industrial structures, possibly a prison or a factory, under a dim sky.

**МОЁ ДАЛЬНЕЙШЕЕ
РАЗОЧАРОВАНИЕ
В БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
РОССИИ**

Эмма Гольдман

**Моё дальнейшее разочарование
в большевистской России**

«Автор»

2026

Гольдман Э.

Моё дальнейшее разочарование в большевистской России /
Э. Гольдман — «Автор», 2026

В этом сенсационном продолжении легендарной книги «Моё разочарование в большевистской России» известная анархистка и борец за свободу Эмма Гольдман раскрывает глаза на жестокую реальность, скрытую за революционной риторикой. Книга повествует о её поездке по Советской России 1920–1921 годов. Гольдман показывает, как идеалы Революции были растоптаны диктатурой партии, бюрократией и бесчеловечным террором ВЧК. Она рисует пугающие картины тотального контроля, подавления свобод, кровавого подавления Кронштадтского восстания и массовых преследований. Автор обнажает зарождение новой элиты и подлую роль лозунга «Грабь награбленное».

© Гольдман Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ГЛАВА I. Одесса	8
ГЛАВА II. Возвращение в Москву	12
ГЛАВА III. Возвращение в Петроград	17
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Эмма Гольдман

Моё дальнейшее разочарование в большевистской России

ПРЕДИСЛОВИЕ

Летописи литературы знают немало примеров, когда книги подвергались цензуре, а целые главы исключались или изменялись до неузнаваемости. Но, полагаю, редко случалось, чтобы произведение публиковали с пропуском более чем трети текста — причём рецензенты даже не подозревали об этом. Именно такая сомнительная участь постигла мою работу о России.

История этого болезненного опыта сама по себе могла бы стать отдельной главой, но сейчас достаточно изложить лишь голые факты.

Моя рукопись была отправлена первоначальному покупателю двумя частями в разное время. Позднее издательский дом Doubleday, Page & Co. приобрёл права на мою работу. Однако, когда первые печатные экземпляры попали ко мне, я с ужасом обнаружила два существенных изменения: во-первых, изначальное название «Мои два года в России» изменили на «Моё разочарование в России». Во-вторых, в книге полностью отсутствовали последние двенадцать глав — включая моё Послесловие, которое, по крайней мере для меня, является самой важной частью.

Затем последовал обмен телеграммами и письмами, благодаря которому постепенно выяснилось: издательство Doubleday, Page & Co. приобрело мою рукопись у литературного агентства, добросовестно полагая, что она полная. По стечению обстоятельств вторая часть работы либо не дошла до первоначального покупателя, либо затерялась в его офисе. Как бы то ни было, книга вышла в свет, и никто не заподозрил её неполноту.

Настоящий том содержит главы, отсутствовавшие в первом издании. Я глубоко признательна друзьям, которые помогли выпустить этот дополнительный тираж — ради справедливости по отношению ко мне и моим читателям.

Приключения моей рукописи имеют и юмористическую сторону: они проливают своеобразный свет на работу критиков. Из почти сотни американских рецензентов моей книги только двое заподозрили её неполноту. И, что примечательно, один из них — не «профессиональный» критик, а библиотекарь. Это немало говорит о профессиональной проницательности и добросовестности критиков в целом.

Обращать внимание на «критику» тех, кто либо не читал книгу, либо не сумел понять, что она не окончена, было бы пустой тратой времени. Из всех так называемых «рецензий» лишь две заслуживают внимания — написанные серьёзными и компетентными людьми: рецензии Генри Олсберга и Г. Л. Менкена.

Мистер Олсберг полагает, что нынешнее название моей книги лучше соответствует её содержанию, чем то, что выбрала я. По его утверждению, моё разочарование касается не только большевиков, но и самой Революции.

В подтверждение своей позиции он цитирует замечание Бухарина: «Революция не может быть совершена без террора, дезорганизации и даже бессмысленных разрушений — точно так же, как омлет нельзя приготовить, не разбив яиц».

Но мистеру Олсбергу, видимо, не пришло в голову следующее: хотя разбивание яиц и необходимо, никакого омлета не получится, если выбросить желток. Именно это и сделала Коммунистическая партия с Русской революцией. Вместо желтка она подменила суть больше-

визмом, а точнее — ленинизмом. Результат этой подмены показан в моей книге: он постепенно осознаётся всем миром как полный провал.

Мистер Олсберг также полагает, что именно «суровая необходимость, насущная потребность сохранить не Революцию, а остатки цивилизации, заставила большевиков прибегнуть ко всем доступным средствам: к Террору, ВЧК, подавлению свободы слова и печати, цензуре, воинской повинности, трудовой повинности, реквизиции крестьянских урожаев — и даже к взяточничеству и коррупции».

Мистер Олсберг, очевидно, согласен со мной в том, что коммунисты применяли все эти методы и что, как он сам утверждает, «„средства“ в значительной мере определяют „цель“» — вывод, доказательства и иллюстрация которого содержатся в моей книге.

Однако единственная ошибка в этой точке зрения — причём самая существенная — заключается в предположении, что большевики были вынуждены прибегнуть к упомянутым методам ради «сохранения остатков цивилизации». Подобный взгляд основан на полном непонимании философии и практики большевизма.

Ничто не может быть дальше от целей и намерений ленинизма, чем «сохранение остатков цивилизации». Если бы мистер Олсберг вместо этого сказал «сохранение коммунистической диктатуры, политического абсолютизма партии», он был бы ближе к истине — и у нас не возникло бы разногласий по этому вопросу.

Не следует упускать из виду, что большевики продолжают применять те же методы и сегодня — точно так же, как в те периоды, которые мистер Олсберг называет «моментами суровой необходимости»: в 1919, 1920 и 1921 годах.

Мы находимся в 1924 году. Военные фронты давно ликвидированы, внутренняя контр-революция подавлена, старая буржуазия уничтожена — «моменты суровой необходимости» остались в прошлом. Более того, Россия получает политическое признание со стороны правительств Европы и Азии, а большевики приглашают международный капитал прийти в их страну. Природные богатства, как уверяет Чичерин мировых капиталистов, «ждут, чтобы их эксплуатировали».

«Моменты суровой необходимости» прошли, но Террор, ВЧК, подавление свободы слова и печати, а также все прочие коммунистические методы, перечисленные мистером Олсбергом, по-прежнему остаются в силе. Более того, после смерти Ленина их применяют ещё более жестоко и варварски. Так для чего это делается? Чтобы «сохранить остатки цивилизации», как утверждает мистер Олсберг? Или чтобы укрепить ослабевающую партийную диктатуру?

Мистер Олсберг обвиняет меня в том, что я считаю: если бы русские совершили Революцию à la Бакунин, а не à la Маркс, результат был бы иным и более удовлетворительным. Признаю себя виновной в этом обвинении. По правде говоря, я не просто так считаю — я в этом уверена.

Русская революция — точнее, большевистские методы — наглядно продемонстрировала, как не следует совершать революцию. Русский эксперимент доказал гибельность ситуации, когда политическая партия узурпирует функции революционного народа, когда всемогущее Государство стремится навязать свою волю стране и когда диктатура пытается «организовать» новую жизнь.

Но мне нет необходимости здесь повторять размышления, подытоженные в моей заключительной главе. К сожалению, они не вошли в первое издание моей работы. В противном случае мистер Олсберг, возможно, написал бы иначе.

Мистер Менкен в своей рецензии считает меня «пристрастным свидетелем» — ведь я, анархистка, выступаю против правительства любой формы. Однако вся первая часть моей книги полностью опровергает предположение о моей пристрастности.

Ещё находясь в Америке, я защищала большевиков, а затем, в течение долгих месяцев в России, искала любую возможность сотрудничать с ними и помогать в великом деле рево-

люционного созидания. Хотя я — анархистка и противница государственности, я приехала в Россию вовсе не в ожидании, что увижу свой идеал воплощённым. Я видела в большевиках символ Революции и стремилась работать с ними, несмотря на наши разногласия.

Однако если отсутствие отстранённости от жизненных реалий означает, что человек не может судить о вещах беспристрастно, то мистер Менкен прав.

Невозможно было прожить два года под коммунистическим террором, при режиме, который влёт за собой порабощение всего народа, уничтожение самых фундаментальных человеческих и революционных ценностей, коррупцию и бесхозяйственность, — и при этом оставаться отстранённой или «беспристрастной» в понимании мистера Менкена. Сомневаюсь, что сам мистер Менкен, хоть он и не анархист, поступил бы иначе. Разве он мог бы, будучи человеком?

В заключение скажу, что нынешняя публикация глав, отсутствовавших в первом издании, выходит в очень значимый период жизни России. Когда был введён НЭП — новая экономическая политика Ленина, — возникла надежда на лучшие дни, на постепенную отмену политики террора и преследований. Казалось, коммунистическая диктатура готова ослабить хватку, которой она сжимала мысли и жизнь народа. Но надежда оказалась недолгой.

После смерти Ленина большевики вернулись к террору худших дней своего режима. Деспотизм, опасаясь за свою власть, ищет безопасности в кровопролитии. Сегодня моя книга актуальна как никогда — даже больше, чем в 1922 году.

Когда первая серия моих статей о России появилась в 1922 году, а затем была опубликована моя книга, меня ожесточённо атаковали и поносили американские радикалы почти из всех лагерей. Но я была уверена, что придёт время, когда маска будет сорвана с ложного лица большевизма и великое заблуждение разоблачено. Это время наступило даже раньше, чем я ожидала.

В большинстве цивилизованных стран — во Франции, Англии, Германии, в скандинавских и латинских странах, даже в Америке — туман слепой веры постепенно рассеивается. Реакционная природа большевистского режима осознаётся массами, его террор и преследования инакомыслящих осуждаются. Пытки политических жертв диктатуры в российских тюрьмах, в концентрационных лагерях замёрзшего Севера и в сибирской ссылке пробуждают совесть наиболее прогрессивных людей по всему миру. Почти в каждой стране созданы общества защиты и помощи политзаключённым в России — с целью добиться их освобождения и установления свободы мнений и самовыражения в стране.

Если моя работа поможет пролить свет на реальное положение дел в России и пробудит мир к истинной природе большевизма и гибельности любой диктатуры — будь то фашистская или коммунистическая, — я со спокойствием перенесу непонимание и искажение фактов как со стороны врагов, так и со стороны друзей. И я не пожалею о муках и борьбе духа, которые породили эту работу. Теперь, после многих превратностей, она наконец полностью издана.

Эмма Голдман

Берлин, июнь 1924 г.

ГЛАВА I. Одесса

На многочисленных станциях между Киевом и Одессой нам часто приходилось ждать по несколько дней, прежде чем удавалось сделать пересадку на поезда, идущие на юг. Свободное время мы проводили, посещая небольшие города и деревни, и завели много знакомств. Особый интерес для нас представляли рынки.

В Киевской губернии подавляющая часть населения — евреи. Они пережили множество погромов и теперь жили в постоянном страхе перед их повторением. Но воля к жизни неистребима, особенно у евреев: иначе столетия преследований и резни давно бы уничтожили этот народ. Их удивительная стойкость проявлялась повсюду — евреи продолжали торговать, словно ничего не случилось.

Весть о том, что в городе появились американцы, быстро собирала вокруг нас толпы людей, жаждущих услышать о Новом Свете. Для них он всё ещё был «новым» миром, о котором они знали не больше, чем пятьдесят лет назад. Но не только Америка — сама Россия была для них закрытой книгой. Они знали, что это страна погромов, что произошло нечто непостижимое под названием «революция» и что большевики не дают им заниматься своим ремеслом. Даже молодёжь в более отдалённых деревнях была ненамного лучше информирована.

Разница между голодающим населением и теми, кто имел доступ к продовольствию, была очень заметна. Между Киевом и Одессой продукты были чрезвычайно дешёвы по сравнению с северной Россией. Масло, например, стоило 250 рублей за фунт — против 3 000 в Петрограде; сахар — 350 рублей, тогда как в Москве — 5 000. Белая мука, которую в столицах было почти невозможно достать, здесь продавалась по 80 рублей за фунт.

И всё же на всём протяжении пути на станциях нас осаждали голодные люди, умолявшие дать им еду. В стране было достаточно припасов, но, очевидно, у обычного человека не было средств для их покупки. Особенно ужасным было зрелище истощённых, оборванных детей, выпрашивающих корочку хлеба у окон вагонов.

Когда мы находились в окрестностях Жмеринки, мы получили ужасающую весть об отступлении Двенадцатой армии и быстром наступлении польских войск. Это было настоящее бегство, в ходе которого большевики потеряли огромные запасы продовольствия и медицинского имущества — в них Россия остро нуждалась. Польские операции и атаки Врангеля из Крыма угрожали прервать наше путешествие.

Первоначально мы намеревались посетить Кавказ, но новые обстоятельства сделали поездку дальше Одессы невозможной. Однако мы ещё надеялись продолжить путь — при условии, что сможем добиться продления срока действия нашего вагонного разрешения, которое истекало 1 октября.

Мы прибыли в Одессу сразу после того, как пожар полностью уничтожил главную телеграфную и электрическую станции, погрузив город в полную темноту. Поскольку на ремонт требовалось значительное время, ситуация усиливала нервозность в городе: темнота благоприятствовала контрреволюционным заговорам. Ходили слухи, что Киев взят поляками и что Врангель приближается.

У нас было заведено наносить первый официальный визит в Исполком, чтобы ознакомиться с ситуацией и общей схемой работы местных учреждений. В Одессе вместо Исполкома существовал Ревком — это указывало на то, что дела города ещё не были достаточно организованы для создания Совета и его Исполнительного комитета.

Председателем Ревкома оказался молодой человек не старше тридцати лет, с жёстким лицом. Тщательно изучив наши документы и узнав о целях нашей миссии, он заявил, что ничем не может нам помочь: ситуация в Одессе была тревожной, а он занят множеством неотложных дел, так что Экспедиции придётся рассчитывать на себя.

Однако он разрешил нам посещать советские учреждения и собирать всё, что мы сможем добыть. Он не считал работу Петроградского музея чем-то важным. Это был простой рабочий, назначенный на высокую государственную должность, — не слишком умный и, по-видимому, враждебно настроенный ко всему «интеллектуальному».

Перспективы выглядели не слишком обнадеживающе, но, разумеется, мы не могли покинуть Одессу, не приложив серьёзных усилий к сбору богатого исторического материала, который, как мы знали, находился в городе.

Возвращаясь из Ревкома, мы случайно встретили группу молодых людей, которые узнали нас — они раньше жили в Америке. Они заверили нас, что от председателя не стоит ждать помощи: он был известен как узкий фанатик, озлобленный против интеллигенции. Несколько человек из этой группы вызвались познакомить нас с другими чиновниками, которые смогут и захотят помочь нам в наших усилиях.

Мы узнали, что председатель Коммунального хозяйства в Одессе — анархист, и что глава Союза металлистов — тоже анархист. Эта информация вселяла надежду, что нам всё же удастся чего-то добиться в Одессе.

Мы не теряли времени даром и сразу навестили обоих, но результат оказался неутешительным. Оба были готовы сделать всё от них зависящее, но предупредили, что не стоит ожидать результатов, потому что Одесса, как они выразились, — «Город Саботажа».

К сожалению, следует признать, что наш опыт подтвердил эту характеристику. Я видела немало проявлений саботажа в различных советских учреждениях во всех городах, которые посещала. Повсюду многочисленные служащие намеренно тратили время впустую, в то время как тысячи просителей проводили дни и недели в коридорах и кабинетах, не получая ни малейшего внимания.

Большая часть населения России ничего не делала, кроме как стояла в очередях, ожидая, пока бюрократы — большие и малые — допустят их в свои «святые места». Но как бы ни были плохи условия в других городах, нигде я не встречала такого систематического саботажа, как в Одессе. От высшего до низшего советского работника — каждый был занят чем угодно, только не порученным ему делом.

Присутственные часы должны были начинаться в десять, но, как правило, ни одного чиновника нельзя было найти ни в одном из отделов раньше полудня или даже позже. В три часа дня учреждения закрывались, и поэтому выполнялось очень мало работы.

Мы пробыли в Одессе две недели, но, что касается материалов, собранных через официальные каналы, мы практически ничего не получили. Всё, чего нам удалось добиться, было благодаря помощи частных лиц и членов запрещённых политических партий.

От них мы получили ценные материалы о преследовании меньшевиков и тех рабочих организациях, где влияние последних было наиболее сильным. Руководство нескольких профсоюзов к моменту нашего прибытия в Одессу было полностью отстранено, и коммунисты начали их полную реорганизацию — с целью устранения всех оппозиционных элементов.

Среди интересных людей, которых мы встретили в Одессе, были сионисты, в том числе некоторые известные литераторы и профессионалы. Мы познакомились с ними в доме доктора Н—.

Сам доктор был владельцем санатория, расположенного в живописном месте с видом на Чёрное море; санаторий считался лучшим на юге страны. Учреждение было национализировано большевиками, но доктор Н— был оставлен на должности заведующего и даже получил разрешение принимать частных пациентов. В обмен на эту привилегию он должен был обеспечивать питание и медицинскую помощь советским пациентам за одну треть установленной цены.

Далеко за полночь мы обсуждали ситуацию в России с гостями в доме доктора. Большинство из них были враждебно настроены к большевистскому режиму.

«Ленин выпустил лозунг „Грабь награбленное“, и, по крайней мере здесь, на Украине, его последователи выполнили приказ буквально», — сказал доктор.

Общим мнением собравшихся было, что последовавшие за этим хаос и разруха стали следствием такой политики. Она ограбила старую буржуазию, но не принесла пользы рабочим. Доктор привёл в пример свой санаторий. Когда большевики взяли его под контроль, они заявили, что пролетариат будет владеть и пользоваться этим местом, но с тех пор ни один рабочий не был принят в качестве пациента — даже пролетарий-коммунист.

Люди, которых Совет направлял в санаторий, были членами новой бюрократии — как правило, высокопоставленными чиновниками. Например, председатель ЧК, страдавший нервным срывом, несколько раз находился в этом учреждении.

«Он работает по шестнадцать часов в день, отправляя людей на смерть, — заметил доктор. — Вы легко можете себе представить, каково ухаживать за таким человеком».

Один из присутствовавших бундовских писателей утверждал, что большевики пытаются подражать Французской революции. Коррупция процветала — она затмевала худшие преступления якобинцев.

Не проходило и дня, чтобы людей не арестовывали за торговлю царскими или керенскими деньгами; и тем не менее это была открытая тайна: сам председатель ЧК спекулировал валютой. Порочность ЧК была общеизвестна. Людей расстреливали за незначительные проступки, в то время как те, кто мог позволить себе дать взятку, освобождались даже после вынесения смертного приговора.

Неоднократно случалось, что богатым родственникам арестованного ЧК сообщала о его казни. Несколько недель спустя, когда они несколько оправлялись от шока и горя, им сообщали, что сообщение о смерти было ошибочным: человек жив и может быть освобождён — при условии уплаты штрафа, обычно очень крупного.

Разумеется, родственники прилагали все усилия, чтобы собрать деньги. Затем их внезапно арестовывали за попытку дачи взятки, деньги конфисковывали, а заключённого расстреливали.

Один из гостей доктора, живший на «улице ЧК», рассказывал об изощрённых методах террора, которые применялись для устрашения населения. Почти ежедневно он наблюдал одни и те же сцены: ранним утром проносились верховые чекисты, стреляя в воздух, — это служило предупреждением, что все окна должны быть закрыты.

Затем появлялись грузовики, нагруженные обречёнными. Люди лежали рядами, лицом вниз, со связанными руками, а солдаты с винтовками стояли над ними. Их везли на казнь за город. Несколько часов спустя грузовики возвращались пустыми — если не считать нескольких солдат. Кровь капала с кузовов, оставляя багровую полосу на мостовой на всём пути до штаб-квартиры ЧК.

Сионисты утверждали, что Москва не могла не знать об этих вещах. Страх перед центральной властью был слишком велик, чтобы местная ЧК могла предпринимать что-либо без одобрения Москвы.

Но неудивительно, что большевикам приходилось прибегать к таким методам. Маленькая политическая партия, пытающаяся контролировать население в 150 миллионов человек, которое люто ненавидело коммунистов, не могла надеяться удержаться у власти без такого института, как ЧК. Последний был характерен для основных принципов большевистской концепции: страна должна быть принуждена к «спасению» Коммунистической партией.

Предлог о том, что большевики защищают Революцию, был пустым издевательством. На деле они полностью её уничтожили.

Стало уже так поздно, что члены нашей экспедиции не могли вернуться в вагон: они опасались, что из-за тёмной ночи его будет трудно найти. Поэтому мы остались в доме нашего хозяина, чтобы на следующий день встретиться с группой людей общенациональной известно-

сти, включая Бялека — величайшего из ныне живущих еврейских поэтов, известного евреям во всём мире.

Там же присутствовал литературовед, который специально изучал вопрос погромов. Он объехал семьдесят два города, собрав богатейший материал по этой теме. По его мнению, вопреки общепринятому представлению, волна погромов в период Гражданской войны (между 1918 и 1921 годами) при различных украинских правительствах была даже страшнее самых ужасных еврейских массовых убийств времён царизма.

При большевистском режиме погромов не происходило, но исследователь полагал, что созданная ими атмосфера усиливала антиеврейские настроения и когда-нибудь это выльется в массовую резню евреев. Он не думал, что большевики особенно озабочены защитой его народа.

В некоторых местностях Юга евреи, постоянно подвергавшиеся нападениям и грабежам со стороны банд грабителей, а иногда и отдельных красноармейцев, обращались к Советскому правительству за разрешением организовать для самозащиты и просили выдать им оружие. Но во всех таких случаях правительство отказывало.

Общим настроением сионистов было то, что сохранение большевиков у власти означает уничтожение евреев. Русские евреи, как правило, не были рабочими. Испокон веков они занимались торговлей, но коммунисты уничтожили эту сферу деятельности, и прежде чем еврея можно будет превратить в рабочего, он, как народ, деградирует и вымрет.

Специфическая еврейская культура — самая бесценная ценность для сионистов — не находила одобрения у большевиков. Этот аспект ситуации, казалось, затрагивал их даже сильнее, чем погромы.

Эти евреи-интеллектуалы не принадлежали к пролетарскому классу. Они были буржуазией, лишённой всякого революционного духа. Их критика большевиков не вызывала у меня сочувствия, поскольку это была критика справа.

Если бы я всё ещё верила в коммунистов как в истинных защитников Революции, я могла бы выступить в их защиту против жалоб сионистов. Но я и сама уже потеряла веру в революционную честность большевиков.

ГЛАВА II. Возвращение в Москву

В стране, где свобода слова и печати подавлены настолько полно, как в России, неудивительно, что человеческий ум питается фантазиями и сплетает из них самые невероятные истории.

Уже в первые месяцы моего пребывания в Петрограде меня изумляли дикие слухи, циркулировавшие по городу, — в них верили даже разумные люди. Советская пресса была недоступна широкому населению, и других источников новостей не существовало.

Каждое утро на углах улиц расклеивали большевистские бюллетени и газеты, но в лютый холод мало кто желал останавливаться, чтобы их прочесть. К тому же коммунистической прессе мало доверяли. Поэтому Петроград был полностью отрезан не только от западного мира, но даже от остальной России.

Один старый революционер как-то сказал мне: «Мы не только не знаем, что происходит в мире или в Москве, — мы даже не представляем, что творится на соседней улице».

Однако человеческий ум не может быть закупорен всё время. Ему нужен выход, и он, как правило, его находит. Ходили слухи о попытках налёта на Петроград, рассказы о том, что Зиновьева окунули в „советский суп“ какие-то фабричные рабочие, и что Москва захвачена белыми».

Об Одессе рассказывали, что у побережья замечены вражеские корабли, и много говорили о предстоящем нападении. Однако, когда мы прибыли, то застали город спокойным, ведущим свою обычную жизнь. За исключением больших рынков, Одесса произвела на меня впечатление полного воплощения советской власти.

Но не прошло и дня с нашего отъезда из города, как на обратном пути в Москву мы снова столкнулись с теми же слухами. Успехи польских войск и поспешное отступление Красной армии подливали масла в огонь перевозбуждённого воображения людей. Повсюду дороги были забиты воинскими эшелонами, а станции заполнены солдатами, которые распространяли панику из-за бегства войск.

В нескольких местах советские власти готовились к эвакуации при первой же опасности. Однако население не могло этого сделать. На железнодорожных станциях вдоль маршрута стояли группы людей, обсуждавших предстоящее нападение.

Бои в Ростове, другие города, уже оказавшиеся в руках Врангеля, бандиты, останавливающие поезда и взрывающие мосты, и подобные истории держали всех в панике. Разумеется, проверить слухи было невозможно.

Но нам сообщили, что мы не можем продолжать путь до Ростова-на-Дону, поскольку этот город уже находился в военной зоне. Нам посоветовали отправиться в Киев, а оттуда вернуться в Москву. Тяжело было отказаться от нашего плана добраться до Баку, но у нас не было выбора. Мы не могли рисковать, особенно учитывая, что срок действия нашего вагонного разрешения истекал в ближайшее время. В итоге мы решили возвращаться в Москву через Киев.

Когда мы уезжали из Петрограда, мы обещали привезти с Юга немного сахара, белой муки и крупы для наших голодающих друзей, которые не видели этих продуктов уже три года. По пути в Киев и Одессу провизию можно было найти по сравнительно низким ценам, но теперь цены выросли на несколько сотен процентов.

От одного одесского знакомого мы узнали о месте в двадцати верстах (около тринадцати миль) от Рахно — маленькой деревне близ Жмеринки, — где сахар, мёд и яблочное повидло можно было приобрести по невысокой цене. Нам не полагалось перевозить продовольствие в Петроград, хотя наш вагон был освобождён от обычного досмотра ЧК. Но, поскольку мы не собирались ничего продавать, мы считали себя вправе привезти немного еды для людей, годами голодавших.

Мы отцепили наш вагон в Жмеринке, и двое членов экспедиции вместе со мной отправились в Рахно.

Совсем непросто было уговорить жмеринских крестьян отвезти нас в соседнюю деревню. Они спрашивали, дадим ли мы им соль, гвозди или какой-нибудь другой товар — иначе они не поедут. Мы потратили большую часть дня на бесплодные поиски, но в конце концов нашли человека, который согласился отвезти нас туда за керенки.

Поездка напомнила мне тернистый путь благих намерений: нас подбрасывало вверх и вниз, дёргало туда-сюда, словно игральные кости. После, казалось, бесконечного путешествия, когда ломило каждый сустав, мы добрались до деревни.

Она была бедной и убогой, основное население составляли евреи. Крестьяне жили вдоль дороги на Рахно и навещали это место только по базарным дням. Советские чиновники были неевреями.

У нас было рекомендательное письмо к женщине-врачу, сестре нашего одесского друга-бундовца. Она должна была подсказать нам, как лучше раздобыть провизию.

Придя в дом докторши, мы обнаружили, что она живёт в двух маленьких комнатах — запущенных и нечистых, — а по полу ползал грязный младенец. Женщина была занята приготовлением яблочного повидла. Она принадлежала к тому типу разочарованных интеллигентов, которых теперь так часто можно встретить в России.

Из её разговора я узнала, что они с мужем, тоже врачом, были направлены в это глухое место. Они были полностью изолированы от какой-либо интеллектуальной жизни: не имели ни газет, ни книг, ни общения с единомышленниками. Муж начинал обход рано утром и возвращался поздно ночью, в то время как ей приходилось заботиться о ребёнке и вести хозяйство, помимо ухода за собственными пациентами.

Она только недавно оправилась от сыпного тифа, и ей было трудно колоть дрова, носить воду, стирать, готовить и ухаживать за больными. Но невыносимой их жизнь делала всеобщая враждебность к интеллигенции. Им постоянно бросали в лицо, что они буржуи и контрреволюционеры, их обвиняли в саботаже.

Женщина сказала, что продолжает эту жалкую жизнь только ради ребёнка: «Иначе лучше было бы умереть».

В дом пришла молодая женщина, бедно одетая, но чистая и опрятная; её представили как школьную учительницу. Она сразу же заговорила со мной.

«Я коммунистка, — объявила она, — и притом „мыслящая самостоятельно“». «Москва, возможно, автократична, — сказала она, — но здешние власти в городах и деревнях Москву переплюнут. Они делают что хотят».

Провинциальные чиновники — словно плавник, выброшенный на берег великой бурей. У них нет революционного прошлого — они не знали страданий за свои идеалы. Они просто рабы, оказавшиеся на командных постах. Если бы она сама не была коммунисткой, её давно бы уже устранили, но она полна решимости бороться против злоупотреблений в своём районе.

Что касается школ, они делают всё возможное при данных обстоятельствах, но этого очень мало. У них нет ничего. Летом ещё не так плохо, но зимой дети вынуждены сидеть дома, потому что классные комнаты не отапливаются.

«Правда ли, что Москва публикует хвалебные отчёты о великом сокращении неграмотности? — спросила она. — Что ж, это, конечно, преувеличение. В моей деревне прогресс идёт очень медленно».

Она часто задавалась вопросом, действительно ли так много толку в так называемом образовании. «Предположим, крестьяне научатся читать и писать, — рассуждала она. — Сделает ли это их лучше и добрее? Если так, то почему в странах, где люди грамотны, так много жестокости, несправедливости и вражды? Русский крестьянин не умеет читать и писать, но у

него есть врождённое чувство справедливости и красоты. Он способен создавать замечательные вещи своими руками, и он ничуть не более жесток, чем остальной мир».

Мне было интересно встретить столь необычную точку зрения у столь молодой женщины в таком глухом месте. Маленькой учительнице едва ли было больше двадцати пяти лет.

Я поощрила её поделиться мыслями о политике и методах её партии в целом. Одобряет ли она их? Считает ли продиктованными революционным процессом?

«Я не политик, — сказала она. — Я не знаю. Могу судить только по результатам — а они далеки от удовлетворительных. Но я верю в Революцию. Она перевернула саму почву, придала жизни новый смысл. Даже крестьяне стали другими — никто не остался прежним. Из всего этого хаоса должно родиться что-то великое».

Приход доктора перевёл разговор в другое русло. Узнав о цели нашего визита, он отправился на поиски торговцев, но вскоре вернулся и сообщил, что ничего не получится: был канун Йом-Кипура, и все евреи находились в синагоге.

Я, будучи не иудейкой (язычницей), не знала, что приехала в канун этого самого торжественного дня поста. Поскольку мы не могли остаться ещё на день, мы решили возвращаться, так и не достигнув цели.

Тут возникло новое затруднение. Наш возница отказывался трогаться с места, пока мы не добудем вооружённый конвой для сопровождения. Он боялся бандитов: две ночи назад, говорил он, они напали на путников в лесу.

Пришлось обратиться к начальнику милиции. Тот был готов помочь нам, но... все его люди были в синагоге на молитве. Не могли бы мы подождать, пока служба закончится?

Наконец народ вышел из синагоги, и нам выделили двоих вооружённых милиционеров. Это было нелегко для тех еврейских юношей: ведь ездить верхом в Йом-Кипур считалось грехом. Но никакие уговоры не могли убедить крестьянина рискнуть проехать через лес без военной охраны.

Жизнь и впрямь — безумное лоскутное одеяло, сшитое из разнородных лоскутов. Крестьянин, настоящий украинец, не колеблясь ни минуты, мог избить и ограбить евреев во время погрома. И всё же он чувствовал себя в безопасности под защитой евреев — от возможного нападения своих же единоверцев.

Мы ехали в яркую осеннюю ночь — небо было усеяно звёздами. Было успокаивающе тихо, вся природа словно спала. Возница и наш конвой обсуждали бандитов, наперебой рассказывая леденящие кровь истории о совершённых ими зверствах.

Когда мы въехали в тёмный лес, я подумала, что их громкие голоса послужат сигналом нашего приближения для любых разбойников, которые могли прятаться в засаде. Солдаты встали в телеге, держа винтовки наготове; крестьянин перекрестился и хлестнул лошадей, пустив их в бешеный галоп, — и не сбавлял скорости, пока мы снова не выехали на открытую дорогу. Всё это было очень захватывающе, но бандитов мы так и не встретили. Должно быть, в ту ночь они промышляли где-то в другом месте.

Мы добрались до станции слишком поздно, чтобы успеть на пересадку, и пришлось ждать до утра. Ночь я провела в обществе девушки в солдатской форме, коммунистки. Она побывала на всех фронтах, как она заявила, и перебила множество бандитов. Она была чем-то вроде «плейбоя Восточного мира», без усталости сочиняя байки. Её любимые истории были о расстрелах.

«Кучка контрреволюционеров, белогвардейцев и спекулянтов, — говорила она. — Всех их надо расстрелять».

Я подумала о маленькой учительнице — о том прекрасном духе в деревне, который отдавал себя тяжёлому и мучительному служению детям и красоте жизни. А здесь — её товарищ, тоже молодая женщина, но ожесточённая и жестокая, лишённая всякого чувства революционных ценностей. Обе — дети одной школы, но такие непохожие друг на друга.

Утром мы снова присоединились к Экспедиции в Жмеринке и отправились в Киев, куда прибыли к концу сентября — и застали город полностью изменившимся. В воздухе витала паника, связанная с Двенадцатой армией: считалось, что враг находится всего в 150 вёрстах (около девяноста девяти миль) от города, и многие советские учреждения эвакуировались, что усиливало всеобщее беспокойство и страх.

Я навестила Ветошкина, председателя Ревкома, и его секретаря. Последний расспрашивал об Одессе, желая узнать, как там обстоят дела, удалось ли подавить торговлю и как работают советские учреждения. Я рассказала ему о всеобщем саботаже, спекуляции и ужасах ЧК.

Что касается торговли, то магазины были закрыты, все вывески сняты, но рынки вели оживлённую торговлю.

— В самом деле? — радостно воскликнул секретарь. — Что ж, вы обязательно должны рассказать об этом товарищу Ветошкину! Как вы думаете? Раковский был здесь и рассказывал нам настоящие чудеса о достижениях Одессы. Он буквально поставил нас на дыбу за то, что мы не добились таких же успехов. Вы должны рассказать Ветошкину всё об Одессе — он оценит эту шутку над Раковским!

Я встретила Ветошкина на лестнице, когда выходила из кабинета. Он выглядел более худым, чем когда я видела его в последний раз, и очень озабоченным. На вопрос о надвигающейся опасности он отнёсся легкомысленно.

— Мы не собираемся эвакуироваться, — сказал он. — Мы остаёмся здесь. Это единственный способ успокоить общественность.

Он тоже расспрашивал об Одессе. Я обещала зайти позже — тогда у меня не было времени, — но мне так и не удалось снова увидеть Ветошкина и поделиться с ним этой историей про Раковского. Мы покинули Киев через два дня.

В Брянске — промышленном центре недалеко от Москвы — мы наткнулись на большие плакаты, извещавшие, что Махно снова с большевиками и что он отличился дерзкими вылазками против Врангеля. Это была ошеломляющая новость, учитывая, что советские газеты постоянно изображали Махно бандитом, контрреволюционером и предателем.

Что же произошло, чтобы вызвать такое изменение отношения и тона? Волнительное приключение — захват нашего вагона и наш плен у махновцев — так и не состоялось. К тому времени, когда мы добрались до района, где Махно действовал в сентябре, он оказался отрезан от нас.

Было бы очень интересно встретиться с крестьянским вождём лицом к лицу и услышать из первых уст, чем он занимается. Он был, несомненно, самой колоритной и яркой фигурой, выдвинутой Революцией на Юге, — и вот он снова с большевиками. Что же случилось? Узнать это можно было только по прибытии в Москву.

Из экземпляра «Известий», попавшего в наши руки в пути, мы узнали печальную весть о смерти Джона Рида. Это стало тяжёлым ударом для тех из нас, кто знал Джека¹.

В последний раз я видела его в гостевом доме — «Отеле Интернациональ» — в Петрограде. Он только что вернулся из Финляндии после заключения там и лежал больной в постели. Мне сообщили, что Джек один и не получает должного ухода, и я пошла ухаживать за ним.

Он был в тяжёлом состоянии: весь опухший, с неприятной сыпью на руках — результатом недоедания. В Финляндии его кормили почти исключительно сушёной рыбой и в остальном обращались с ним отвратительно. Он был очень болен, но дух его оставался прежним. Как бы радикально кто-то ни расходился с Джеком во мнениях, нельзя было не любить его большой,

¹ Эмма Гольдман называла Джона Рида Джеком, потому что родные и друзья Джона Рида использовали это имя в качестве неофициального прозвища для него. При этом Джек — не сокращённое от Джона, а самостоятельное имя, которое соответствует русскому Якову (Джон — Ивану). Сам Джон Рид также подписывал так свои письма к близким.

щедрой души. И вот теперь он был мёртв — его жизнь отдана на службу Революции, как он верил.

Прибыв в Москву, я сразу же отправилась в гостевой дом «Деловой Двор», где остановилась Луиза Брайант, жена Джека. Я застала её в ужасном душевном состоянии, и она была рада видеть того, кто так хорошо знал Джека. Мы говорили о нём — о его болезни, страданиях и безвременной кончине.

Она была очень озлоблена, потому что, по её словам, Джека отправили в Баку на Съезд народов Востока, когда он уже был тяжело болен. Он вернулся практически умирающим. Но даже тогда его можно было бы спасти, если бы ему обеспечили квалифицированную медицинскую помощь. Он пролежал в своей комнате неделю, пока врачи не могли определиться с диагнозом. А потом было уже поздно.

Я хорошо понимала чувства Луизы, хотя была убеждена, что для Рида сделали всё возможное. Я знала: что бы ещё ни говорили против большевиков, их нельзя обвинить в пренебрежении к тем, кто им служит. Напротив, они щедрые хозяева. Но Луиза потеряла самое дорогое, что у неё было.

Во время разговора она спросила меня о моих впечатлениях, и я рассказала ей о внутреннем конфликте, об отчаянных усилиях, которые я прилагала, чтобы найти выход из хаоса, и о том, что теперь туман рассеивается и я начинаю отличать большевиков от Революции.

С тех пор как я приехала в Россию, я начала чувствовать, что с большевистским режимом что-то не так, и ощущала себя словно в ловушке.

— Как странно! — Луиза внезапно схватила меня за руку и уставилась на меня безумными глазами. — «В ловушке» — это именно те слова, которые Джек повторял в бреду.

Я поняла, что бедный Джек тоже начал видеть то, что скрыто под поверхностью. Его свободный, ничем не скованный дух стремился к подлинным ценностям жизни. Его тяготило, когда его связывала догма, провозглашавшая себя неизменной. Если бы Джек выжил, он, несомненно, мужественно боролся бы с тем, что заманило его в ловушку.

Но перед лицом смерти человеческий разум иногда становится просветлённым: он в одно мгновение видит то, что в нормальном состоянии скрыто и недоступно. Мне совсем не казалось странным, что Джек чувствовал то же, что и я, — то, что в России должен чувствовать каждый, кто не является фанатиком: ощущение, будто он оказался в ловушке.

ГЛАВА III. Возвращение в Петроград

На следующий день Экспедиция должна была отправиться в Петроград, но Луиза умоляла меня остаться на похороны.

В воскресенье, 23 октября, несколько друзей поехали с ней в Дом профсоюзов, где тело Рида лежало в почётном карауле. Я сопровождала Луизу, когда процессия направилась к Красной площади.

Произносились речи — много холодных, шаблонных декламаций о ценности Джека Рида для Революции и для Коммунистической партии. Всё это звучало механически, далеко от духа умершего человека в свежей могиле.

Только одна выступающая говорила о настоящем Джеке Риде — Александра Коллонтай. Она уловила душу художника, бесконечно более глубокую и прекрасную, чем любая догма. Она использовала этот случай, чтобы сделать наставление своим товарищам.

— Мы называем себя коммунистами, — сказала она, — но действительно ли мы таковы? Не высасываем ли мы жизненную сущность из тех, кто приходит к нам? А когда они перестают быть полезными, мы бросаем их на обочине — забытыми и покинутыми. Наш коммунизм и наше товарищество — мёртвая буква, если мы не отдаём себя тем, кто в нас нуждается. Будем осторожны с таким коммунизмом: он убивает лучшее в наших рядах. Джек Рид был среди лучших.

Искренние слова Коллонтай не понравились высокопоставленным членам партии. Бухарин нахмурил брови, Рейнштейн беспокойно ёрзал на месте, другие ворчали. Но я была рада тому, что сказала Коллонтай. Не только потому, что её слова выразили суть личности Джека Рида лучше всего, что было сказано в тот день, но и потому, что это приблизило её ко мне.

В Америке мы неоднократно пытались встретиться, но безуспешно. Когда я прибыла в Москву в марте 1920 года, Коллонтай была больна. Я виделась с ней лишь недолго перед своим возвращением в Петроград. Мы говорили о том, что меня тревожило.

Во время разговора Коллонтай заметила:

— Да, у нас в России много тусклых сторон.

— Тусклых? — переспросила я. — И ничего больше?

На меня неприятно подействовал этот, как мне показалось, довольно поверхностный взгляд. Но я успокоила себя тем, что недостаточно хорошее владение английским языком заставило Коллонтай охарактеризовать как «тусклое» то, что для меня было полным крушением всякого идеализма.

Среди прочего Коллонтай тогда сказала, что я могла бы найти широкое поле для работы среди женщин, поскольку до того времени было предпринято очень мало попыток просветить их и расширить их кругозор.

Мы расстались дружелюбно, но я не почувствовала в ней той теплоты и глубины, которые нашла в Анжелике Балабановой. Теперь, у открытой могилы Рида, её слова приблизили её ко мне. «Она тоже глубоко чувствует», — подумала я.

Луиза Брайант упала в глубоком обмороке и лежала лицом вниз на сырой земле. После значительных усилий мы помогли ей подняться на ноги. В истерическом состоянии её усадили в ожидавший неподалёку автомобиль, отвезли в гостиницу и уложили в постель.

Снаружи небо было затянуто серыми тучами и словно оплакивало свежую могилу Джека Рида. И вся Россия казалась свежей могилкой.

Пока мы были в Москве, мы нашли объяснение внезапной перемене тона коммунистической прессы по отношению к Махно. Большевики, теснимые Врангелем, искали помощи у украинской повстанческой армии. Между Советским правительством и Нестором Махно

должно было быть заключено политико-военное соглашение. Последний должен был полностью сотрудничать с Красной армией в кампании против контрреволюционного врага.

Со своей стороны большевики приняли следующие условия Махно:

Немедленное освобождение и прекращение преследований всех махновцев и анархистов — за исключением случаев вооружённого мятежа против Советской власти.

Полнейшая свобода слова, печати и пропаганды для махновцев и анархистов, однако без права призывов к вооружённым восстаниям против Советской власти и при условии военной цензуры.

Свободное участие в советских выборах; право махновцев и анархистов быть кандидатами, а также право на созыв Пятого Всеукраинского съезда Советов.

Соглашение также включало право анархистов созвать съезд в Харькове, и подготовка к его проведению в октябре уже велась. Многие анархисты готовились присутствовать на нём и были в восторге от открывающихся перспектив.

Но моя вера в большевиков получила слишком много ударов. Я не только считала, что съезд не состоится, но и видела в этом большевистскую уловку: собрать всех анархистов в одном месте, чтобы затем уничтожить их.

Тем не менее факт оставался фактом: несколько анархистов, среди которых был известный писатель и лектор Волин, уже были освобождены и теперь находились на свободе в Москве.

Мы уехали в Петроград, чтобы доставить в Музей вагон драгоценных материалов, собранных нами на Юге. Ещё ценнее был опыт, которым обогатились члены Экспедиции благодаря личным контактам с людьми самых разных взглядов — или вовсе лишёнными каких-либо убеждений, — а также впечатления от социальной панорамы, разворачивавшейся день за днём. Это было сокровище куда более ценное, чем любые бумажные документы.

Но более глубокое понимание ситуации лишь усиливало мою внутреннюю борьбу. Мне хотелось закрыть глаза и уши — не видеть обвиняющего перста, указывающего на слепые ошибки и сознательные преступления, которые душили Революцию. Я хотела не слышать властного голоса фактов, который уже не могли заглушить никакие личные привязанности.

Я знала, что Революция и большевики, провозглашённые единым целым, были противоположны, антагонистичны по цели и назначению. Революция коренилась глубоко в жизни народа. Коммунистическое государство было основано на схеме, насильственно навязанной политической партией. В этой борьбе Революция погибала, но и её губитель тоже задыхался.

В Америке я знала, что интервенты, блокада и заговор империалистов губят Революцию. Но тогда мне была неизвестна та роль, которую большевики играли в этом процессе. Теперь я поняла, что они были могильщиками.

Меня гнетуще тяготило осознание великого долга перед рабочими Европы и Америки: я должна была сказать им правду о России. Но как я могла высказаться, когда страна всё ещё была осаждена на нескольких фронтах? Это означало бы сыграть на руку Польше и Врангелю.

Впервые в жизни я воздержалась от разоблачения серьёзных социальных зол. Мне казалось, что я предаю доверие масс, особенно американских рабочих, чью веру я так глубоко ценила.

Прибыв в Петроград, я временно поселилась в «Отеле Интернациональ». Я намеревалась найти комнату где-нибудь в другом месте, решив не принимать никаких привилегий от правительства.

«Интернациональ» был полон иностранных гостей. Многие понятия не имели, зачем и почему они приехали. Они просто устремились в страну, которую считали раем для рабочих.

Я помню свой случай с одним парнем из ИРМ (I.W.W.). Он привёз в Россию небольшой запас провизии, иголок, ниток и других подобных необходимых вещей. Он настаивал, чтобы я позволила ему поделиться со мной.

— Но вам всё это самому понадобится, — сказала я ему.

Конечно, он знал, что в России большая нехватка всего. Но пролетариат у власти — и как рабочий он получит всё необходимое. Или он «возьмёт участок земли и построит усадьбу». Он пятнадцать лет состоял в движении «Воббли» и «не прочь был остепениться».

Что можно было сказать такому простаку? У меня не хватило смелости разочаровать его. Я знала, что он довольно скоро всё поймёт сам.

Но всё же было жалко видеть, как такие люди наводняют голодающую Россию. Однако они не могли навредить ей так, как это делали другие — создания с четырёх концов земли, для которых Революция была золотой жилой. Многие из них находились в «Интернационале».

Все они приезжали с легендами о чудесном росте коммунизма в Америке, Ирландии, Китае, Палестине. Такие истории были бальзамом для голодных душ людей у власти. Они принимали их так, как старая дева принимает лесть своего первого поклонника. Они отправляли этих самозванцев обратно домой хорошо обеспеченными финансово — и снаряжёнными воспевать хвалу Республике Рабочих и Крестьян. Наблюдать за этой породой, раздувшейся от сознания «важных конспиративных миссий», было и трагично, и комично.

Ко мне в комнату приходило много посетителей, среди них — моя маленькая соседка из «Астории» с двумя детьми, коммунист из французской секции и несколько иностранцев.

Моя соседка выглядела больной и измождённой с тех пор, как я видела её в последний раз в июне 1920 года.

— Вы больны? — спросила я её как-то.

— Не совсем, — сказала она. — Я почти всё время голодна и истощена. Лето выдалось тяжёлое: как инспектор детских домов, я много хожу пешком. Возвращаюсь домой совершенно обессиленная.

Моя девятилетняя девочка находится в детской колонии, но я не рискнула отдавать туда своего маленького сына из-за его прошлогоднего опыта, когда он был так запущен, что чуть не умер. Мне пришлось оставить его в городе на всё лето, что вдвое усложнило мою жизнь. И всё же не так было бы плохо, если бы не субботники и воскресники. Они полностью высасывают из меня силы. Вы знаете, как они начинались — как пикник, с трубами и пением, маршами и празднествами? Мы все чувствовали вдохновение, особенно когда видели, как наши ведущие товарищи брались за кирку и лопату и включались в работу. Но всё это в прошлом. Субботники стали серыми и бездушными, превратились в обязанность, налагаемую без учёта склонностей, физической готовности или объёма другой работы, которую человек должен выполнить. В нашей бедной России ничто никогда не удаётся.

— Если бы я только могла уехать в Швецию, Германию, куда угодно, подальше от всего этого... — вздохнула она.

Бедная маленькая женщина! Она была не единственной, кто хотел покинуть страну. Именно любовь к России и горькое разочарование заставляли большинство людей стремиться убежать.

Некоторые другие коммунисты, которых я знала в Петрограде, были ещё более озлоблены. Когда бы они ни навещали меня, они повторяли, что твёрдо намерены выйти из партии. Они задыхались, — говорили они, — в атмосфере интриг, слепой ненависти и бессмысленных преследований.

Но чтобы выйти из партии, которая абсолютно контролирует судьбу более чем ста миллионов человек, требуется немалая сила воли — и моим гостям-коммунистам её не хватало. Но это не уменьшало их страданий, которые сказывались даже на их физическом состоянии, хотя они получали лучшие пайки и питались в элитной столовой Смольного.

Я помню своё удивление, когда впервые обнаружила, что в Смольном есть две отдельные столовые: одна — где здоровая и достаточная пища подавалась важным членам Петроградского Совета и Третьего Интернационала, а другая — для рядовых сотрудников партии.

В своё время было даже три столовые. Каким-то образом кронштадтские матросы узнали об этом. Они пришли всем скопом и закрыли две столовые.

— Мы делали Революцию для того, чтобы все делили поровну, — сказали они.

Некоторое время работала только одна столовая, но позже вторая снова открылась. Но даже во второй еда была намного лучше, чем в советских столовых для «простых людей».

Некоторые коммунисты возражали против дискриминации. Они видели промахи, интриги, уничтожение жизней, совершаемое во имя коммунизма, но у них не хватало сил и смелости протестовать или отмежеваться от партии, ответственной за несправедливость и жестокость.

Они часто изливали мне душу по поводу вещей, о которых не смели говорить в своих кругах. Так я узнала многое о внутренней работе партии и Третьего Интернационала — сведениях, которые тщательно скрывались от внешнего мира.

Среди прочего была история так называемого финского белогвардейского заговора, в результате которого в Петрограде были убиты семь ведущих финских коммунистов. Я читала об этом в советских газетах, когда была на Украине. Помню, как я снова с досадой подумала о себе: как это я критикую большевистский режим в то время, когда контрреволюционные заговоры всё ещё столь активны?

Но от моих гостей-коммунистов я узнала, что опубликованное сообщение было ложным от начала до конца. Это был не белогвардейский заговор, а борьба между двумя группами большевиков: умеренными финскими коммунистами, контролировавшими пропаганду из Петрограда, и левым крылом, действовавшим в Финляндии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.